

Г

ород давил тяжестью набухшего жарким маревом неба и камнем домов, духотой раскаленного асфальта. И это — в сентябре. Синоптики толковали по телевизору об аномально высокой осенней температуре, а муж предложил: «Давай-ка поедem на море! Сейчас самое время — бархатный сезон».

В дорогу они давно уже берут только самое необходимое; летом этого необходимого тем более немного. Билеты, поезд, бегущие пейзажи за окном... Недолгие (знакомые дали адрес) поиски жилья, и вот они уже вольготно расположились под каменным козырьком танцевальной площадки санатория. Площадка — сверху, ее пол, опирающийся на бетонные сваи, как раз и образует козырек, защищающий от солнца кусочек галечного пляжа. Санаторий теперь не по карману, но им и так хорошо. Главное — они на море, и, наконец-то, полной грудью вдыхают насыщенный неповторимыми морскими запахами воздух.

Никто их не узнает. Прошли те времена, когда назойливые (но и желанные!) поклонники не давали проходу, прося написать автограф или вместе запечатлеться на фотографии. А теперь... Непривычно,

конечно. Но есть в этой ситуации и свое преимущество: можно побить наедине с собой. И спокойно смотреть на море.

— Ты пойдешь купаться?

— Если ты посидишь немного одна.

— Конечно, посижу.

Она тоже бы с удовольствием пошла к воде. Но — куда ж по гальке с ее ногой, не пожелавшей после аварии стать прежней, несмотря на все усилия врачей... Лечилась она в то время, когда доктора еще были внимательны к пациентам, даже если в карманчик их белого халата не опускали купюру. Ей обещали: все будет хорошо. Не случилось. Не случилось...

И вот он идет к морю, а она остается на берегу. И смотрит ему вслед. И любит его: ну-ка, всякий ли мужчина выглядит так в его-то немалые годы? Да ему и шестидесяти не дашь: ни согнутой спины, ни отвисшего брюшка. А седина — это такие пустяки.

Он всегда был такой — прямой и стройный. И никогда никого не боялся. Даже зрителей. Вспомнить хотя бы тот первый концерт... Все его участники (еще не артисты, еще просто участники студенческой художественной самодеятельности) тряслись и волновались, как перед экзаменом, и только он был абсолютно спокоен. Стоял себе за кулисами, поглядывая потихоньку по сторонам. Задержал взгляд на ней. Ей захотелось почему-то, чтобы этот взгляд длился дольше, но объявили его выход. Он пошел на сцену. И запел...

Песня была на его родном языке (узбек? таджик? — гадала тогда она), и голос звучал так, будто его исторгали не голосовые связки, а сама таинственная, многозвучная стихия жизни: в нем была наивная застенчивость детства, буйная сила и красота молодости, мудрое спокойствие позднего возраста. Вот так, все сразу! У нее даже появилось чувство, что эта песня звучала всегда, еще до того, как он запел, и будет длиться даже после того, как он уйдет со сцены... Она обнаружила вдруг, что у нее перестала болеть голова. И улеглось волнение.

И когда объявили ее выступление, она шла на сцену почти спокойной. И пела так, с таким воодушевлением... Он потом скажет: «Я слушал и думал: если ее голос придется мне по душе, то у нас будет все».

У них потом все и было...

Нет, все-таки это совсем неплохо: сидеть незаметной. Так можно многое вспомнить и многое увидеть. Вон тетки лежат. Классические такие тетки, с большими грудями, тяжелыми задами. Оторвались от стирки и кастрюль, от детей и внуков — отдыхают. Может, впервые в жизни. Они и на море-то пока не хотят глядеть — приходят в себя. Вот оклемаются немного — тогда и начнут оглядываться. Настанет день, когда они удивленно скажут: «Господи, благодать-то какая»...

Было время, когда она считала: каждому свое. Кому-то — кастрюли и сопливые носы, кому-то — цветы и аплодисменты. И если Бог, например, наградил ее талантом, то и отношение к ней со стороны остального человечества должно быть особое. Понадобилось много уроков (не школьных и не вузовских, конечно), пока она поняла: талант — это просто дополнительная нагрузка к земным заботам. Ноша, которая больше никого не касается, и тяжесть которой никто с тобой не разделит. Разве что муж... если он такой, как у нее.

Его рука оказывалась на ее плече в самые трудные, а может быть,

даже бездежные минуты. Вспомнить хотя бы тот день, когда стало ясно, что доктора не всесильны. «Ходить будете, но ровной походки — увы — не получится...» Они с мужем стояли на лестничной площадке больничного корпуса, куда она вышла уже сама, без помощи костылей и его руки, но радости от этого не испытала. Наоборот: испытала ужас. «Хромающая певица — разве это возможно?» — рыдала она на плече у мужа. Он не спешил ее утешать, только гладил по спине, как испуганного котенка. А когда она немного успокоилась, взял за плечи: «Не паникуй. Начнем с тобой все сначала. Ты же сильная, я знаю»...

И вот пришел день, когда она — впервые после больницы — готовилась к выходу на сцену...

Долго настраивалась за кулисами — зрители уже начали аплодировать от нетерпенья — а она все не могла насмелиться сделать первый шаг — туда, к ним. И не потому, что после всего пережитого засомневалась в своих вокальных данных: к тому времени их с мужем дуэт уже прочно утвердился на сцене. Да, они пели вдвоем. В советские времена это было редкостью, но их голоса так удачно сочетались («так же, как и вы сами» — шутила по этому поводу любимая подруга), что им было разрешено петь вместе. Они и пели, и зрители уже успели их запомнить и полюбить. А если любят — значит, можно не бояться?.. Она, наконец, решилась, сделала несколько неуверенных шагов по сцене и — вдруг поняла, что сейчас упадет.

Тут он и положил ей на плечи руку — почти обнял! Подобные вольности в те времена не допускались, но, может быть, как раз поэтому — от удивления (или даже умиления?) — зал буквально взорвался аплодисментами, и она вспомнила привычное предконцертное состояние: у нее за спиной — крылья, и она готова взлететь...

Как им аплодировали... сколько было цветов... и тогда, и потом... Она приходила домой и зарывала в эти цветы лицо...

И — где все это теперь?..

— Женщина, у вас тут свободно?

— Да, — машинально ответила она. Пришелица разложила рядом свой плед, принялась активно обмахиваться панамкой.

— С ума сойти. Не сентябрь, а настоящий июль.

— Вы правы, — вежливо отозвалась она, хотя поддерживать разговор не особенно и хотелось — больше хотелось смотреть на море. Женщина оказалась чуткой: легла на спину, прикрыла глаза панамкой. Ухоженная, интеллигентная... И примерно ее возраста. Значит, наверняка ходила в молодости на концерты. А вот — не узнала...

Наверняка интеллигентная соседка ходит на концерты и сейчас. Только там, на сцене, уже другие исполнители. Хотя, хотя... поет же до сих пор ее тезка, ее ровесница. Когда-то она ворвалась в эстраду стремительно, как летящая звезда, и уже никого этого звания не роняла, и продолжает победно нести его до сих пор. Она уважает ее за голос и за характер, понимая, впрочем, что и у той приближается закатный час. Хотя она всячески старается его отдалить. Взять хотя бы эти вечные ее замужества, причем, чем старше становится она сама, тем моложе оказывается ее избранник. Это, конечно, подогревает интерес публики, хотя, вполне возможно, делается не только ради полного концертного зала, но и ради себя тоже...

Она ее понимает, но сама бы так не смогла. Во-первых, потому что

есть ОН. А во-вторых, с некоторыми пор в ее голове стала брезжить мысль: наверное, счастью петть все-таки есть замена. Пожалуй, она называется так: счастье жить.

Вот сейчас она смотрит на море, на мужа, который, накупавшись, возвращается к ней, и глаза ее влажны. Влажны от радости, прорывающейся сквозь веки и готовой пролиться самыми настоящими слезами. Он опустился рядом:

— Ну, так и что же? Зачем сдерживаться? Этих слез можно не бояться...

Заметил. Угадал... «Не бойся этих слез», — слова одной из их любимых песен... Она в ответ только улыбнулась — уже успокоенно и благодарно.

Соседка еще раз продемонстрировала свою редкостную чуткость: заметив, что к ней подошел муж, передвинула плед и улеглась в отдалении: общайтесь, мол, я ничего не слышу.

— Скажи, почему Господь так мало времени отвел на наше пребывание на земле?

— Разве мало? Вспомни, как долго мы пели. Как долго любили друг друга... А сейчас?... Наша любовь, я думаю, не закончится даже тогда, когда... ну, ты понимаешь.

— Я не знаю, что и как будет ТАМ, но я еще не успела наглядеться на тебя здесь! И на небо. И на море.

— Ну, знаешь... Я что — полотно Рембранта, чтобы на меня долго смотреть? А вот про небо и море согласен. Знаешь сама — некогда было. Не на что было. Но, думаю, у нас еще есть время, и мы постараемся все наверстать.

О да... Расценки за концерты в советские времена были смешные. А когда началось другое время — они были уже не так молоды, а те, кто были действительно молоды, полезли на сцену такой несметной и активной саранчой... где им было конкурировать с ними! Тем более что тут требовался не только и не столько талант, сколько совсем другие качества, которые они никогда в себе не культивировали, считая их не только необязательными, но даже вредными для искусства.

Переменилось время. Переменилось государственное устройство. Когда-то они, как и многие, обрадовались этому, тем более что появилась возможность поехать в Израиль, где ее обещали избавить от хромоты. Прежняя власть не давала на это разрешения. Запретила концерты. Воспитывала. Наказывала за блажь сделать еще одну операцию — за рубежом. С какой стати? Вы что — номенклатура?..

Теперь путь открыт на все четыре стороны, но — поздно. И она уже убедила себя в том, что раз поздно, то какой смысл об этом грустить? Ну, не доковылять ей по гальке до моря. Зато смотреть-то можно сколько угодно! Смотреть, наслаждаться, надеяться на то, что эта радость еще повторится...

Она не сразу поняла, отчего в умиротворенное, почти благостное настроение, которое ей удалось удержать в себе, вклинилось что-то неприятное... будто мазнули по лицу грязью...

Будка пляжного массовика-затейника ожила, из нее понесся оживленный, усиленный рупором голос. Незатейливый юмор, которым культработник сопровождал пожелание приятного отдыха, еще можно было терпеть. Но потом... потом из домика на сваях полились та-а-кие музыкальные помои... Дело было даже не в самой музыке — в конце концов, не Моцарта

же и не Бетховена слушать на пляже. Но слова, слова... Безвкусица, пошлость — это еще не самая точная их характеристика... Не сразу поверив, она еще раз добросовестно прислушалась и убедилась: блатная чувствительность и фальшивая искренность «песен» напичкана словами обыкновенного мата. И это — на весь пляж, где и старые люди, и дети...

Взглянув на мужа, она поняла, что он думает примерно о том же. И неожиданно сказала:

— Ты знаешь, я начинаю жалеть о государстве, которого больше нет. Пусть оно причинило нам столько боли, но...

— Но тогда эта мерзость и непотребство были бы невозможны, — ты это хочешь сказать?

— Ты, как всегда, угадал. Как глупо мы распоряжаемся свалившейся на нас свободой...

Она сделала еще одну попытку удержать в себе хорошее настроение: закрыла уши, зажмурила глаза. Но какой смысл сидеть на берегу моря с закрытыми глазами?.. С горечью вздохнула:

— А нынешняя эстрада — многим ли она лучше? Внешнего блеска и шума — хоть отбавляй. А если убрать световые эффекты и подтанцовку... что останется? А прежде было достаточно одного голоса. Одного только голоса!

— Вот именно — голоса... А еще в тех наших песнях была душа. Не только в песнях — в искусстве вообще. Оно как бы компенсировало недостаток душевности в официозе.

— Тебе не кажется, что мы с тобой все-таки русские? Русская еврейка, русский узбек?..

Соседка перевернулась на другой бок и вдруг пристально, не таясь, на них посмотрела. У нее больно трепыхнулось в груди: узнала? А вдруг еще возможно то, что случилось однажды?

...Однажды их пригласила в гости та самая подруга детства, которой принадлежит фраза об их поразительном сочетании друг с другом. У ее дочки был день рождения. Она упорно отказывалась: ну, что мы придем? Зачем? Кто мы для них — для нового поколения? Абсолютно пустое — *забытое* — место. Но подруга так упрашивала, так упрашивала...

Пришлось собираться. Они пришли, немного опоздав. Молодежь уже выпила тост за именинницу, за столом нарастало веселье... Тут-то подруга и сказала:

— Спасибо всем, кто пришел. Дочка сегодня получила много подарков, но я хотела бы сделать еще один. Мне бы хотелось, чтобы сейчас для нее прозвучала песня...

На лицах юных гостей появилось выражение откровенного недоумения: песня? Зачем? И кто здесь собирается петь — вот эти только что пришедшие пожилые люди?

И тогда она неожиданно сделала вот что: обворожительно улыбнулась, обвела застолье лучезарным взглядом и царственной походкой, прихрамывая почти незаметно, направилась к пианино, где муж уже перебирал клавиши, пробуя их на слух.

Придет и к вам любовь —
Зимой или весной,
Вы встретите ее случайно...
Как будет трудно вам,
Как будет вам легко...

Она пела и видела, как меняются лица: недоумение сменилось на удивление, удивление — на восхищение... Закончилось все оглушительными аплодисментами, через которые до них донесся голос именинницы:

— Вы сделали мне самый лучший подарок!..

Соседка опять повернулась в их сторону, и на этот раз решила провить настойчивость:

— Простите, но мне кажется, что я вас где-то видела. Откуда-то знаю. Во всяком случае, вы очень похожи на...

Она хотела, но никак не могла отвести глаз от моря. Чувствовала, как они опять влажнеют, наполняясь горячей — гораздо горячей полуденного морского воздуха — влагой. Так и ответила, не поворачиваясь к соседке:

— Вы, вероятно, ошибаетесь. Скорее всего, мы просто похожи на кого-нибудь из ваших знакомых...

КУПИ СЕБЕ ПАРИЖ

...И еще у меня теперь есть свой маленький Париж. Раньше я открывала глаза, и — ничего, только обои в мелкий цветочек. А теперь, просыпаясь, сразу попадаю в простор утренней, еще не многолюдной улицы (не нашей, не нашей, наши покрыты надоевшим асфальтом, а эта — вымощена камушками, которым — сколько столетий, и кто только по ним ни ходил?!), а в конце улицы — знакомый силуэт Эйфелевой башни. Без Эйфелевой башни — какой же Париж?

В моем Париже всегда одна и та же погода — мелкий дождичек сыпет с неяркого, хмурого неба, но он совершенно не портит настроения, наоборот — умиротворяет, внушает мысли о постоянстве и стабильности человеческого быта и бытия, проявляющихся в том числе и в этом: неизменной сменяемости времен года. Сейчас дождь и осенняя хмарь, но потом будет зима с белым снегом, а потом с небес польет уже другой — веселый, весенний дождик, обещающий роскошные прелести лета. И будет так — внушает картина — долго-долго...

Свой Париж я купила совсем недорого — всего за триста сорок рэ. Почему так дешево? Ну, это же не Ренуар, не Клод Моне. Однако очень на них похоже. В основе изображения — *impression* — впечатление... Потому, видно, и задело. И подвигло на незапланированную покупку. Потому что вообще-то до сих пор я не позволяла себе приобретать ненужные вещи. Пальто к зиме — нужно. Стол, шкаф, диван — как без них? Нет, можно, конечно, спать на раскладушке, но не в нашем же с тобой возрасте. В нашем возрасте нужно размещать свое тело свободно и вольно, чтобы оно сумело (успело) за ночь отдохнуть.

В нашем возрасте вообще надо следить за режимом, питанием, здоровьем. Это немного скучно, но — надо. Впрочем, не так уж и скучно: с некоторых пор мне стало нравиться, например, рано вставать. Вернее — просыпаться. А вставать — зачем с этим спешить? С тех пор, как на мелких цветочках обоев появился кусочек Парижа, мои утренние мысли стали более оптимистичными (ну, об этом я тебе уже сказала), а еще (и об этом говорить даже немного стыдно) более эгоистичными. Да-да, дорогая моя подруга — вот до чего я дожила-докатилась. Раньше я (да и ты тоже) была убеждена, что жизнь надо приносить в жертву детям. Нет, не в жер-

тву. Просто ты их родила, ты их вскормила и вырастила, и они тебе — дороже всего на свете. Дороже даже человека, который тоже участвовал во всем этом: чтобы родить, чтобы вскормить, вырастить и отпустить в самостоятельную жизнь.

Вот... Тут-то трагедия и началась. И у меня, и у тебя тоже. Мы их так не хотели отпускать! Мы боялись, что без нас им будет хуже! Ах, как мы этого боялись!

И дождалась... Дождались такого, что, кажется, в самом страшном сне не могло присниться. Помнишь, ты написала мне (мы тогда еще писали друг другу нормальные письма на нормальной бумаге): «Кажется, все им отдавали: время, силы, здоровье. Себе пальто кое-какое, им — самое дорогое и модное. Себе помаду за восемьдесят копеек, им — польскую косметику. А они выросли, и... Однажды приехали в гости: разодетые в пух и прах, по последней, естественно, моде, и, увидев наши с отцом одежды, дочь изрекла: «Вы сами себя выбросили на помойку». Я не сразу поняла, о чем она. Кажется, все у нас, как у людей: на работу ходим, книжки читаем, даже за новинками кино и театра за чем-то следим. А потом глянула на мужа в трениках... на себя в застиранном халате...

Как обидно стало! Как горько! Даже не столько обидно, сколько вот именно горько»...

Вот так... А теперь давай подумаем, почему это оказалось возможно — то, что дочь сказала тебе такие слова. Тебе не кажется, что мы сами дали повод к этому? Мы уже привыкли, более того, это уже въелось в нашу кровь: экономить на себе ради них. Сами пусть как-нибудь, а им — самое лучшее. Мы не можем отказаться от этой привычки даже сейчас, когда они живут уже не с нами, когда сами зарабатывают себе на жизнь. В нас живет подсознательный страх: упаси Бог на себя лишнюю копейку истратить — вдруг она им понадобится, спросят, а нам нечего дать. Да лучше мы в трениках... в застиранном халате...

Нам кажется, что они должны все это понимать. А они нас за это... презирают! Презирают и считают, что имеют на это полное право.

Вот-вот: горько... Думаешь, у меня не так? Все точно так же. Вспомнить хотя бы прошлое лето. Иду с огорода. День был знойный, и я, пропалывая грядки, вымучилась до донышка. И вот иду домой, а навстречу дочка: свеженькая, легкая, красиво одетая. Глянула я на себя ее глазами и ужаснулась: потная, косматая, ноги еле волочу... Сколько раз я слышала от нее: у нас совсем другая жизнь, ваши огороды в ней совсем не нужны. Нам они и самим уже не нужны, нам они уже в тягость, но... наши зарплаты известно какие, а их-то, любимых, отдохнуть к нам приехавших, хочется угостить свежим огурчиком, помидорчиком прямо с куста. Вот и пластаемся на этих грядках.

Теперь представляешь, как мы в их глазах выглядим? Убого одетые... с потными от огородной работы спинами и лицами... А мы ведь еще лезем и с советами. Учим жизни. А разве можно принимать советы от таких, как мы — убогих и жалких? Чему мы можем научить — чтобы стать такими же, как мы?!

Знаешь, какая мысль мне пришла однажды в голову, когда я любовалась на свой маленький Париж? Я подумала о том, как по-разному живут люди. Те же французы, например, или американцы. У них привычно такое положение вещей: вырастили ребенка — и гуд бай, бэби. Живи самостоятельно. Сам зарабатывай себе на жизнь и учебу, сам ре-

шай свои проблемы — ты же не раз позиционировал себя взрослым. Ну и — будь им. Со всеми вытекающими...

У нас, русских, не так. Сначала детей растим. Потом учим. Потом помогаем купить квартиру. А когда появляются внуки — все начинается по новой, только на другом витке. Одна загвоздка: здоровье-то наше уже не то. Силы не те. А детки этого не понимают и не замечают: они уже привыкли к тому, что мы всегда, при любой их просьбе готовы вытянуться в струнку и взять под козырек. И попробуй пожалуйся на здоровье: ах, вы нас не любите... вы внуков не любите...

Француженку или американку этим не пробьешь. А мы сразу в обиду, в слезы, мы готовы наизнанку вывернуться, чтобы доказать, что это не так: да любим, любим... грузите еще — все вытерпим!

Знаешь, почему еще я этот Париж приобрела? Там, в магазине, забрезжила вдруг догадка: он поможет мне вспомнить то, о чем я уже забыла. Я забыла, например, что, кроме детей, у меня ведь и в самом деле есть еще муж — мужчина. Мужчина, которому можно — и нужно! — нравиться. Ты погляди на этих парижанок: дождь, все под зонтиками, все в плащах, но какие это зонтики, какие плащи! А туфельки! А мы ведь себе одежду уже пенсионерскую выбираем. Мы уже стесняемся выглядеть хорошо. Так что, может, мы и заслужили это: «Сами себя на помойку...» Слушай, а может, нам это не как обиду, а как руководство к действию воспринять? Давай устроим, наконец-то, сами для себя шопинг! В газетах прочитаешь — сколько наши эстрадные звезды на один поход в магазин тратят? Тысячи. Долларов. А мы проявим чудеса изобретательности — уложимся в сотни. Рублей. Можем мы себе это позволить — хотя бы один-то раз? И ведь это будет — на данном витке жизни — как раз ради детей. Вдруг мы начнем им нравиться? Вдруг они посмотрят на нас с интересом?

Признаюсь честно, как на духу: однажды я так и сделала. Вот как раз прошлым летом, когда детки уже уехали. Извлекла из заветного места заначку — и на рынок. Хожу по рядам, присматриваюсь, по привычке, к тому, что подешевле. Думаю о том, что могло бы понравиться... дочери. И ловлю себя на мысли, что дешевое-то ей как раз и не понравится. Что же делать?! Остановилась у палатки с сарафанами (на улице еще лето, жарко, а я в майке потом обливаюсь). И тут продавщица показывает мне расчудесный сарафанчик и говорит: «Померьте. Это — ваше». «Почему же мое? — спрашиваю. — Это для более молодого возраста. И дорого к тому же». А она: «А вы примерьте. И увидите, что вы еще достаточно молоды. Просто привыкли носить незаметное. А что касается цены... Так ведь он того стоит! Посмотрите, как сшит. Посмотрите, как отделан... а расцветка...» Уговорила! Надела я тот сарафан, и... не узнала себя. И вправду — еще не старая. А если купить еще вон ту панамочку — почти шляпку, с кружевцами...

В общем, когда я пришла домой, и надела все это к приходу мужа... Он долго смотрел на меня, не говоря ни слова. А потом: «Ходишь в застиранных штанах да майках. А сейчас... прямо королевшна»... Француженка тут бы улыбнулась кокетливо, а у меня... закапали слезы. На новый-то сарафан...

И все-таки дело не в одежде. Не только в ней одной, ты согласна? Даже если мы оденемся в шелка и кружева с головы до ног... одно это нас с нашими детьми не примирит. Не объединит. Помнишь, в другом своем письме ты написала: «А недавно моя доченька звонит и советует причи-

татъ книжку «Пути материнской любви». Я сначала подумала, что услышалась: не поняла, говорю, повтори. И она опять: «Пути»... Слово это резануло меня по сердцу так, что оно, кажется, до сих пор кровоточит. Это с каких же пор материнская любовь стала путями?! Ты учительница, объясни мне, медицинскому работнику среднего звена...»

Господи... Если бы я сама знала. Я, сколь работала в школе, все одно объясняла: мать — самое святое, что есть у человека. Этому учит классика. Лучшее из нашего современного и зарубежного — о том же. Но вот нашелся среди новомодных «философов» такой, что взял на себя смелость (наглость?) внедрять в сознание наших детей мысль: матери сковывают движения вашей души и воли и не дают развиваться вашим способностям. И мысль эта нашим деткам очень понравилась. А если так... ну и давай отпустим их на волю! Может быть, мы неправильно их любим? Может быть, любить — это как раз-то отпустить от себя, дать чаду возможность идти самостоятельно, не опираясь на тебя, как на костыль? Может быть, именно за это они и начнут нас уважать?!

Так что — давай отпустим!

А чтобы не завять от обрушившегося на тебя одиночества... купи себе Париж!

Знаешь, три века назад в этом прекрасном городе жила женщина — маркиза Мари де Севинье, которая в похожей ситуации — дочь вышла замуж и уехала жить в Прованс — придумала себе простое занятие: стала писать ей письма. Маркиза была знакома с министрами и мушкетерами, философами и куртизанками, с Корнелем, Мольером и самим Людовиком Шестнадцатым, так что ей было о ком и о чем писать. У меня подобного ранга и разнообразия знакомых нет, но... я тоже пишу своей дочери письма. Мадам де Севинье свою переписку опубликовала и стала автором самого знаменитого в истории французской литературы эпистолярия, а я... я свои письма даже не отсылаю. Почему? Потому что очень хорошо понимаю: что они против Великой китайской стены, которую выстроили между собой и нами наши дети!

Иногда мне кажется, что мы живем с ними на разных планетах. Или даже в параллельных мирах. И никакое пересечение, никакая наша встреча (я имею в виду не приезд в гости, а именно — ВСТРЕЧУ) просто невозможны...

Знаешь, какой сон мне недавно приснился? Вечер, я иду по какому-то лугу, по дорожке, и эта тропинка-дорожка почему-то представляется мне бесконечной. Кругом покой и благодать, а сердце болит. И я знаю, от чего оно болит: потому что я иду одна. На бесконечной дороге — одна. Ах, если бы...

И только в истекающем болью сердце возникло это «если бы», как я увидела, что навстречу идет молодая женщина. Вот она ближе, ближе... и вдруг я ее узнаю. Как затрепетало мое сердце! Как всколыхнулись надежды! Вот она поравнялась со мной и... пошла дальше. Не останавливаясь, пошла. И я спиной, нервами, каждой клеточкой своей чувствую, как расстояние между нами увеличивается — с каждым новым мгновением, каждой секундой. Что делать?! В отчаянии замедляю шаг, поворачиваю голову назад (как в той песне: я оглянулся посмотреть, не оглянулась ли она...) и вижу: остановилась, оглянулась.

Боже, какое счастье!..

Если бы еще хоть словечко...

...Когда-нибудь ты будешь большой и совсем другой. Не веришь? Я тоже когда-то не верила. И думала так: буду всегда такая, как сейчас. Как в детстве. Нет, внешне я, конечно, стану меняться, а как же иначе, но вот внутренне... Меняться внутри себя я совсем-совсем не собираюсь. Вот сейчас, невзрослая, я прекрасно знаю, что такое хорошо, и что такое плохо. Знаю, как надо — правильно! — поступать в той или иной ситуации. И буду знать это всегда! И без колебаний все и всегда делать хорошо! Но... пришло время, когда я с удивлением заметила, что границы между «хорошо» и «плохо» размылись, а то и вовсе превратились в свою противоположность. Получалось, что я... изменилась? Изменилась — должна была констатировать факт. Изменилась настолько, что порой вынуждена спрашивать себя: та наивная, доверчивая, все наперед знающая девочка — это была я?!

Так же будет и с тобой. Потому что так бывает со всеми. И все-таки, думаю, не все исчезает бесследно, что-то из наивного, доверчивого, все наперед знающего детства человеку удастся в себе сохранить. Можно, я помогу тебе ПОМНИТЬ?..

— Бабушка, я хотел бы быть вечным ребенком.

Это что-то новое. До сих пор я слышала фразы: «Вот когда я был маленьким...» — «А сейчас ты большой?» — «Конечно». Это звучало и в пять, и в шесть лет. И вот тебе семь, и... что я слышу?

— Но зачем? — донельзя удивленная, спрашиваю я.

— Чтобы всегда играть с Соней.

Ох уж эта Соня... Ты, житель шумного, богатого на всяческого рода фейерверки и развлечения, мегаполиса, приезжаешь в гости к нам, в маленький провинциальный город, и первая твоя фраза: «Если бы ты знала, как я соскучился по Соней!»

Любовь в такие годы, пишут психологи, явление не такое уж редкое. Я наблюдаю твою любовь. Пять, шесть, семь... сейчас тебе уже девять лет, закончены два класса. Ты уже умеешь читать и писать и — дитя 21-го века — не любишь ни того, ни другого. Компьютер, айфон — твои любимые игрушки, твое любимое занятие и времяпрепровождение. Про школу ты уже успел сочинить крамольные стихи:

По камешку, по камешку
Мы школу разберем...

А я школу в свое время любила. Но... тогда ведь и школа была другая. Учебные программы не перегружали наши умы и позволяли самостоятельно и неспешно видеть, обдумывать, постигать окружающий мир. Теперь, в вашей школе, есть даже такой предмет: окружающий мир, а мы этот мир изучали без всяких программ. Может быть, это было не совсем полноценное постижение (что-то мы, руководимые не научными разработками, а только собственным внутренним чутьем, упускали), но зато уж что постигали — то было наше. Нашими были зима с санками и ныряниями в сугробы, лето с речкой, точнее, с озером, но мы всегда говорили: пошли на речку! У берега — тина едва не до колен, но потом дно все ровнее, все тверже, и вот ты уже отталкиваешься от него ногами и плывешь, плывешь... вода — счастье, воздух — счастье, синее просторное небо — тоже счастье! А весна — это уже всем счастьям счастье! Весной, самой-самой ранней, мы шли в овраг. Он был далеко за селом, но мы все

равно шли, нас тянуло в него неудержимо, потому что именно там, в овраге, на солнечной его стороне появлялись весной первые проталины, на которых земля освобождалась от уже надоевшего снега и прогревалась настолько, что тут можно было уже и сесть, и лечь, не опасаясь простуды. Про простуду мы, конечно, не думали, а просто хотели скорее, как можно скорее соединиться с теплой землей, от которой шли запахи недавнего снега и прорастающей травы, и это сочетание (вон он, снег — на дне оврага еще целехонек, а здесь, на солнцепеке, уже проклюнулась травка), это сочетание было таким радостным и бодрящим! Мы брали с собой еду — посыпанный солью хлеб и лук. Ах, какой вкусной была эта нехитрая еда! И как хорошо нам тогда говорилось, молчалось, мечталось...

Ты тоже любишь овраги! И не только летние, но и зимние!

Разве забыть мне тот случай? Сколько тебе было? Наверное, шесть — в школу ты еще не ходил. Но, может быть, все значительное, и даже, может быть, самое главное происходит с нами как раз до школы. До обеда вы играли дома, а потом резко засобирались на улицу. Ты, Соня, Юля. Соня и Юля были соперницами, соперничая, конечно же, из-за тебя. «Если ты пойдешь к Соне — я не буду с тобой дружить...» Но зима, желание покататься на ледянках вас объединило. «Бабушка, я игрушки потом уберу!» Конечно, потом. Мне ужасно хочется остаться, наконец, одной, спокойно почитать, спокойно приготовить ужин. Но вот проходит час, другой... Дело идет к вечеру. Начинаю волноваться. Пожалуй, пора отправляться на поиски. Иду сначала в «свой», ближний овраг. Никого! Иду в другой, чуть дальше. И здесь никого! А уже темнеет, и мороз нехилый — за двадцать. Наступает момент, когда мной овладевает паника, страх. «Давай на машине, по всем ближним улицам проедемся», — говорю деду. Но и на заснеженных, морозных улицах — нигде, никого... Боже, что делать?!

И вот когда мое отчаяние достигает пика, вижу: по улице плетутся, донельзя усталые, два маленьких человечка — ты и Юля (Соня, значит, уже дома, а Юля живет в нашем конце). Слава Богу, нашлись! Трогаю твои руки — они в обледенелых варежках. Трогаю ноги — они в обледенелых штанишках. Скорее, скорей домой! Скорее — ноги в таз, в воду погорячее! Делаю все, что нужно, и причитаю: «Ну как ты не понимаешь — я уже с ума схожу! Пропали, нигде нет...» — «Мы, бабушка, в дальний овраг ходили». — «Ну, зачем в дальний, если и в своем можно хорошо покататься? Посмотри, какие ноги холодные, не дай Бог, заболеешь...» Причитаю и думаю: вот ведь ничего, ничего не чувствует и не понимает... что ему бабушкины переживания... И вдруг:

— Бедная бабушка... Ты не убирай игрушки, я сам уберу. Завтра. Как поем блинов...

Мог ли ты сказать что-то еще, более обезоруживающее, чем это? Мог. Но сказал именно так. Ах, если бы ты сохранил эту способность — соперничать, жалеть — на всю жизнь. Сохрани, пожалуйста! Знаешь, зачем? Чтобы всякое сердце отзывалось тебе тем же...

А что было наутро! Про игрушки — кто из нас их убирал, я уже не помню. Но другое!..

— Бабушка, а ведь я вчера поссорился с Соней.

— Как?!

— У нее мама строгая. Соня покаталась в овраге и сказала: все, надо идти домой. А Юле разрешают гулять, сколько она хочет. И мне тоже так хотелось еще покататься с горки! И я сказал Соне: ну и иди. Трусиха. И Соня тогда сказала: ты мне больше не друг.

— Ну, милый мой, как же ты мог... Надо было как-то мягче сказать. А то — «трусиха». Может, она ушла не потому, что боится мамы. Просто не захотела ее расстраивать. Тебе так не кажется?

Молчит. Думает. Мы сидим за столом на кухне, пишем буквы (ты уже до школы умел читать и писать). Чувствую, что на душе у тебя беспокойно. И вот:

— Бабушка, я напишу Соне записку.

— А может, проще позвонить?

— Нет, я сначала напишу. А позвоним потом.

Звоним после обеда:

— Сонь, тут вот хотят с тобой поговорить. Я передаю трубку...

Ты берешь открытку и читаешь:

— Со-ня, про-сти ме-ня.

Я удивляюсь шепотом:

— Читать-то зачем? Ты скажи словами.

И тогда тем своим ласковым, душевным голосом (как вчера — «бедная бабушка...»), ты говоришь:

— Соня, я был не прав. Я тебя люблю!

Я оцепенело сижу на диване, сраженная твоей искренностью. Госпо-ди, помогай этому ребенку всегда, во всякой ситуации, и сейчас, и потом...

Блины же — твоя любимая еда. Жарь хоть каждый день. Что я с радостью и делаю: не ломай голову, что на завтрак — блины! И — поприветлей. Или бутерброды. Кашу — ни в коем случае! В садике надоела.

Дети помирились, снова играют вместе. Соня на год старше моего внука, но ей с ним интересно. Мне и самой интересно с ним. Словарный запас внука впечатляет, познания в самых разных, порой неожиданных областях — тоже; он знает, например, кто такой был Никола Тесла, и в чем заключалась его научная и практическая деятельность; однажды я стала рассказывать ему о фашизме и концлагерях, он перебил меня вопросом: «Ты какую войну имеешь в виду — Первую или Вторую мировую?» Про физическое устройство мира — всякие там молекулы, атомы, электроны и протоны — элементарно может прочитать минилекцию. Про бабочек и жуков — тоже. Боже, сколько их было переловлено и посажено в то дошкольное лето в стеклянные банки — для наблюдений! А сколько времени мы провели у муравьиных куч, наблюдая жизнь неутомимых насекомых. Ты меня просвещал: «Тебе известно, что они обладают коллективным разумом? У каждого человека разум свой, а у них один на всех». — «Да откуда ты это знаешь?» — «Странно, что это не знаешь ты»... А еще у вас с Соней был период увлечения составлением различных смесей («нам нужно растительное масло, уксус, крахмал. А если крахмал просто в воду — смотри, какой твердый он становится»...) Словом, быть интересным для девочки на год старше внуку не составляло труда. Но вот в чем заключался осложняющий жизнь момент: Соня — красавица. Большие глаза, пухленькие и румяные, как у девочек на дореволюционных открытках, щечки, аккуратный носик, а самое главное — вся она излучает какие-то фантастические, притягивающие к себе лучи. Несмотря на свой юный возраст, она, видимо, это знает, и, можно не сомневаться, получает знаки внимания не только от моего внука, потому что однажды вдруг заявляет:

— Как вы мне все надоели! Завтра я начинаю новую жизнь. Заведу жизненный дневник. И мы больше не будем с тобой встречаться. Ну, примерно лет двадцать.

Соня, конечно, чистейшей прелести чистейший образец, но... это не дает ей права обижать моего внука! А ты пришел домой вконец расстроенный:

— Бабушка, и что мне теперь делать?

Я не нахожу ничего лучшего, как призвать на помощь классика. Поучительным тоном цитирую его знаменитые строки: «Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей...» Понимаю, как смешно преподносить их в качестве рецепта от любви маленькому мальчику, и, вконец запутавшись, выхожу из положения так:

— В общем, тебе просто-напросто не надо излишне волноваться и переживать. Надо выдержать характер. Увидишь — завтра, а вовсе не через двадцать лет, вы опять будете вместе.

— Ты в этом уверена?

— Давайждемся завтра.

На другой день Соня — красота все-таки не затмевает в ней разума и чувства дружбы — пришла к нам сама: «Ну, во что будем сегодня играть?..»

— Бабушка, я сейчас что-то тебе скажу... Только ты никому не говори, даже дедушке. Когда мама плачет, я плачу вместе с ней. Так все дети поступают?

Почему я все-таки решаюсь открыть эту твою великую тайну? Потому что это признание надо подарить человечеству. Давай подарим? Давай напомним ему, что вовсе не доллары — главная ценность мира, что вовсе не ими надо дорожить больше всего на свете...

А этот наш диалог...

На моей прикроватной тумбочке ты увидел маленькую, красиво изданную книжку — почти игрушку. И, может быть, как раз поэтому проявил к ней интерес.

— Бабушка, это что за книжечка такая?

— Высказывания оптинских старцев.

— Ну, прочитай что-нибудь.

Открываю страничку наугад. «Не осуждайте никого, всех прощайте, считайте себя худшими всех на свете и спасены будете».

Ожидала всего, но только не этого:

— Я таким себя и считаю. Я некрасивый и хуже всех.

Придя в себя от замешательства, бросаюсь тебе на помощь:

— Это ты некрасивый? Ты очень красивый! И... почему это хуже всех?

— Со мной всегда что-нибудь происходит... что-нибудь непонятное...

Ну, да, происходит. Это со всеми происходит. Но по твоему тону чувствуется, что ты имеешь в виду событие не совсем красивое. И тебе хочется облегчить душу.

— Хочешь — расскажи.

...Однажды твоя вторая бабушка пришла за тобой, чтобы забрать домой из садика, и нашла тебя стоящим в углу. Воспитатели с жаром принялись рассказывать: увидел подбитую птицу, да как пнет ее ногой... и раз, и два... и наблюдает, как она поведет себя... разве так можно?.. Конечно, нельзя. И бабушка справедливо тут же учинила суд и расправу: хорошенько отчитала, а чтобы урок усвоился еще лучше — нахлестала по щекам.

Детская жестокость — вещь существующая и специалистами по дет-

ской психологии доказанная. Я не думала, что мой внук окажется еще одним примером в этой цепочке доказательств, но... что произошло, то произошло. Не берусь судить судей моего внука, а вот сказать слово в твою защиту хочу. Так раскаяться, как это сделал ты — не всякий взрослый (чтобы не сказать — редкий взрослый) сумеет сделать. Это говорит о не соответствующей возрасту зрелости твоей души. Твое раскаяние перевесило твою вину.

Как хорошо, что нам попались на глаза высказывания оптинских старцев...

...И вот тебе уже девять, и тебе совсем неинтересно гулять с бабушкой. С кем интересно? Конечно же, с Соней! И вдвоем вам совсем нескучно: вы уже не ловите бабочек и жуков и не составляете адских смесей, зато лихо катаетесь на велосипедах, снимаете фильмы-ужастики (сами операторы, сами режиссеры, сами авторы текстов), сами... о, сколько всего, самого разного, происходит в течение дня! Меня радует, что, несмотря на обилие увлечений и занятий, вы пока еще помните, что на свете есть бабушки, которые вас любят. Вы приносите им с прогулки букетики цветов: Соня — своей, ты — мне.

Разбираю один из них: душица, зверобой — это для чая. Ромашка — поставим-ка ее в стакан с водой. А вот — часики...

— Эти розовенькие цветы — часики. Как же я их люблю!

— А почему они так называются?

— Не знаю. Конечно, у них наверняка есть какое-нибудь официальное название, но мы в детстве называли их часиками. Смотри: маленькие, кругленькие, и лепестки — как стрелки у часов — расходятся в разные стороны.

— Так это почти у всех цветов так. Почему эти любимые?

— Не знаю... Может, потому, что детство напоминают. Да и вообще... они такие милые, трогательные.

Вдруг в голову приходит такой аргумент:

— Девочек на свете тоже ведь много. И все друг на друга чем-то похожи. Но Соня для тебя — лучше всех. Как ты думаешь, почему?

Молчишь. Потом — задумчиво:

— Я тоже не знаю.

Теперь мы молчим вдвоем. И думаем — верю я — о чем-то важном, постигая, может быть, одну из главных тайн мироздания. Это непременно забудется (забываются даже главные тайны; жизнь идет дальше, и столько всего преподносит для осмысления и запоминания). Как же сделать, чтобы потом все вспомнилось — в самый нужный момент?

Стоп! Придумала. Тебе всего-то и надо будет найти этот цветок — часики. Ты посмотришь на их лепестки-стрелочки — и в твоей памяти сразу вспыхнет все, что так опрометчиво, так ненужно забылось. Всплывет, и поможет ответить на какой-то очень важный на новом этапе жизни вопрос.

Не забудь только одно: эти цветы называются — часики...

